Сила нейтральна, как нож.
Всё решает намерение.



ДВУРУЧНИЦА

Межа. Книга 1

Лана Эмбер

ЛАНА ЭМБЕР

Межа. Книга 1. ДВУРУЧНИЦА

«Автор»
2026

ЭМБЕР Л.

Межа. Книга 1. ДВУРУЧНИЦА / Л. ЭМБЕР — «Автор», 2026

Восемнадцать лет назад, во время чёрного мора, старейшины деревни Межевичи на коленях выпросили у Старого Бора, обители древней силы, спасение и пообещали Лесу плату — девицу, что в мор родится. Срок вышел. На Осенины Лес не принял ни мёда, ни хлеба. Он выбрал Марану, дочь травницы с самого края деревни, ту, что «кровью не повязана».В Лесу, за межевыми столбами, Светлая Явь и тёмная Навь веками живут бок о бок по суровому Межевому закону, и обе стороны требуют дань людскую себе. Пока Совет решает её судьбу, Марану стережёт Страж Межи — молчаливый Гран, который сто лет охраняет границу Межи и которому законом запрещено любить.Но за межевыми столбами в Маране просыпается сила, которой в этом Лесу быть не должно. До Карачуна, самой длинной ночи в году, ей предстоит понять, кто она такая, — и решить, кем стать, когда все вокруг уже решили за неё.Книга первая цикла «Межа».

© ЭМБЕР Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Серый час 5
Глава 2. Плата 10
Глава 3. Межа 13
Интерлюдия. Велена 17
Конец ознакомительного фрагмента. 19

ЛАНА ЭМБЕР
Межа. Книга 1. ДВУРУЧНИЦА

Глава 1. Серый час

Туман вытек из Старого Бора ещё затемно и к утру встал у межевых столбов, как покорная скотина у запертых ворот. Дальше он не двигался — лежал на колкой стерне густой молочной пеленой, ровно по невидимой черте, и не думал таять, хотя солнце поднялось высокое, осеннее, и на огородах давно высохла роса. На каждом колу, на каждой жердине вдоль околицы застыли вороны. Они сидели нахохлившись, втянув головы в блестящие чёрные плечи, и молчали — ни одна не каркнула с самого рассвета, будто птицам разом зашили глотки.

Марана заметила их первой, когда понесла к замшелому пню у опушки Ядвигин дар: тёплый каравай из новой ржи, пузатый горшочек липового мёда и пучок чесаного льна. Вчерашняя треба лежала там же, где её оставили, нетронутая. Хлеб размяк и осел от ночной сырости, а в загустевшем мёде вязко барахтались сонные осенние осы.

Лес не принял требу.

Марана долго смотрела на глухую белую стену тумана, за которой едва угадывались чёрные стволы первых берёз, вплетённых в колючий ельник. В воздухе пахло прелой листвой, смолой и странной, неуместной в сентябре грозой. Она опустила свежий каравай рядом со вчерашним и негромко сказала в молочную пустоту:

— Не голодный, значит. Ну и мы не навязываемся.

Туман не ответил — лишь лениво шевельнулся у самых носков её стоптанных сапог. Марана вытерла ладони о грубый холщовый передник и пошла прочь через огород: мимо грядок с сизой поздней капустой, мимо покосившегося сарая, где под стрехой шуршали связки сухой полыни, зверобоя и пижмы. И только у самой калитки поняла, что всю дорогу почти бежала, ни разу не обернувшись, спину между лопаток кололо холодом.

Осенины в Межевичах справляли по старинке: бабы с утра спускались к реке встречать осень овсяным киселём, мужики с гулом выкатывали из погребов дубовые бочонки, девки заплетали в венки тугие ржаные колосья и алую рябину. В воздухе плыли густые, сытые запахи печёного хлеба, свежего дёгтя от новых тележных колёс, овчины и ядрёной кислой капусты из распахнутых сеней.

Только в этот год праздник шёл как-то вполголоса, с оглядкой на околицу. Восемнадцать осеней назад, в пору чёрного мора, на этих самых Осенинах деревня пообещала Лесу плату за спасение — и вот срок вышел. Об этом помнили все. Знали и то, кого коснётся расплата: девок, что родились в тот страшный год и чудом выжили, когда каждый третий в Межевичах лёг в сырую землю. Любаву, старостину дочку, Ульяну Степанидину да тихую Дуню Прохорову. И её, Марану, Ядвиги дочку — про неё в деревне за глаза шептали: ни Живе лучина, ни Лесу щепка.

Ядвига слыла лекаркой да травницей; никто уже и не помнил, когда и какими дорогами занесло её в Межевичи. Она и прежде не баловала людей лишним словом, а нынче и вовсе замкнулась — лишь бросала короткие «подай», «держи», «не стой столбом». Вот и сегодня, её сухие, цепкие руки не знали покоя ни на миг: она перебрала зверобой, который и без того был чист, дважды вымела выскобленный добела пол, заново перевязала травяные пучки под закопчённым потолком. Марана следила за этой лихорадочной суетой из угла у печи и злилась — злиться было куда легче, чем спросить в лоб.

— Мам, ты б присела.

— Присяду, когда помру.

— Так это скоро, коли ты третий раз половицы трёшь.

Ядвига глянула на неё через плечо — сухое, точёное лицо, лучики глубоких морщин у тёмных глаз, губы, сжатые в суровую нитку — и вдруг коротко хмыкнула. От её одежды запахло горьким межевым полынком и печным дымом. Значит, ещё ничего, значит, держится.

Марана невольно коснулась пальцами широкого тканого пояса-оберега, плотно сидевшего на талии поверх рубахи. Мать зашила туда сушёную траву, у которой одна сторона листа серебрилась, а другая чернела, и наговорила над каждым узлом так крепко, что пояс грел кожу даже в стужу. «Нож за пазухой носят, а не на языке», — любила повторять Ядвига, когда Марана в детстве прибегала с речки с разбитыми коленками и рассказом о том, как обидевший её мальчишка ни с того ни с сего схватился за ушибленный бок. Марана и сама не понимала, отчего так выходит: стоило кому-то толкнуть её со зла или схватить грубо, как в груди вспыхивал обжигающий холод, и обидчику возвращалось его же худо. Потому и обходили её стороной, шепчась о порче.

К вечеру над деревней поплыл тяжёлый, тревожный звон — ударили в железное било у старого колодца.

Колодец стоял посреди площади, наглухо заколоченный крест-накрест почерневшими, гнилыми досками; воды из него не черпали восемнадцать лет. С него-то мор и начался: сперва слегли те, чьи избы стояли поближе, следом — те, кто носил им воду и утешение, а там уж смерть пошла косить всех подряд. Почти год мор гулял по деревне, и никакие травы не помогали. На Осенины старейшины упали в ноги Старому Бору и силам, что в нём живут, и, как сказывали старики, Лес сжалился, когда люди приползли к опушке на коленях. Говорили ещё, что без лесной милости не осталось бы в Межевичах ни единой живой души. Марана впитала эти рассказы с молоком и с детства усвоила: у старого колодца народ собирается лишь перед большой бедой.

Пришла вся деревня, и стар и млад. Над Межевичами висел серый час — зыбкое безвременье между днём и ночью, когда тени уже сгустились, но лучины в избах ещё не зажигают, и лица людей делаются одного пепельного цвета с заборами. Туман от опушки подтянулся ближе; по краю площади, у крайних изб, он висел так плотно, словно кто-то развесил сушиться мокрую холстину.

Любаву мать держала за руку, как малого ребёнка, хотя девка вымахала на полголовы выше неё. Ульяна стояла белее мела, в нарядной праздничной повязке, с венком из колосьев, который явно давил ей на виски. Дуня Прохорова, курносая, усыпанная мелкими веснушками, нервно грызла кончик русой косы и не поднимала глаз от затоптанной земли. Марана встала плечом к плечу с Ядвигой на самом отшибе, где привыкла стоять всегда, — так, чтобы за спиной был старый плетень, а не людские спины и ядовитые шепотки. Чуть поодаль, у кузницы, привалился к столбу Митяй — широкий в плечах, перепачканный сажей, с тяжёлыми руками молотобойца. Поймав её взгляд, он едва заметно кивнул, но тут же нахмурился, глядя на толпу.

Ефим вышел к колодцу и стянул шапку. Староста был мужик кряжистый, широкоплечий, с густой проседью в бороде. В тот страшный год его двор беда обошла стороной — уцелели и жена, и дочь, и двое сыновей. В деревне шептались, что это сама Жива отметила его за то, что первым пошёл к лесу на поклон. Ефим долго, мучительно мял шапку в загрубевших пальцах, прежде чем разомкнуть губы.

— Все знаете, зачем созвал, — хмуро начал он. — Восемнадцать лет назад, на Осенины, когда мор уже год нас косил, я у опушки на коленях стоял. И вы со мной стояли, кто уцелел. Просили у сил защиты и милости. И нам помогли — и Явь, и Навь. Но взяли с нас слово. Повторю, как слышал. — Он перевёл дух, и в тишине было слышно, как скрипят его сапоги. — «Девицу, что в мор родится. Душу чистую, ни одному роду здешнему кровью не повязанную. Через восемнадцать осеней, на Осенины. Обеим сторонам поровну».

Над площадью повисла такая мёртвая тишина, что Марана расслышала, как у неё за спиной в сухом плетне шуршит мышь.

— Лес напомнил, — продолжил Ефим, глядя поверх голов. — Вчерашний дар не тронут, туман у околицы стоит. Сами видели, тянуть нельзя. Долг платится в срок, а неуплаченный — растёт.

— Это ты куда клонишь, Ефим Петрович? — звонко, с вызовом крикнула Степанида, Ульянина мать, и шагнула вперёд, уперев руки в бока. — На мою, что ли, косишься? Так моя связана! Её ещё по весне за мельникова Гришку просватали, рукобитье было, всей деревней гуляли. Слово дали — считай, кровь смешали. Не годится она!

— Рукобитье — ещё не венец, — угрюмо буркнул кто-то из задних рядов.

— А ты прикуси язык, у тебя одни сыновья!

Прохор, Дунин отец, выступил вперёд сам, не дожидаясь, пока черёд дойдёт до него. Маленький, сгорбленный, он судорожно теребил подол холщовой рубахи, и голос его прерывался:

— Дуня у меня одна-единственная… Мать её в мор померла, родами. Какая ж она чистая, коли на ней материна смерть лежит? Не примет её Лес. Люди добрые, не возьмёт ведь!

Дуня сдавленно всхлипнула и ещё глубже закусила косу. Марана отвела взгляд. Ей стало тошно от этого торга, от того, как взрослые мужики и бабы выворачивают наизнанку собственные беды, лишь бы откупиться чужой головой. «Чужой бедой свой порог не подопрёшь», — вспомнилась старая поговорка, но в Межевичах о ней сегодня забыли.

Теперь все глаза упёрлись в Ефима, и староста кожей чувствовал эту тяжесть — было видно, как каменеют желваки на его скулах. За его широкой спиной пряталась Любава — рослая, кровь с молоком, с тяжёлой русой косой в руку толщиной, первая невеста на всю округу. Мать вцепилась ей в рукав так, что побелели костяшки пальцев.

— Моя кровью повязана, — тяжело выдохнул Ефим. — Моя она. Ефимова. Всякий знает.

— Так и моя Степанидина! — взвизгнула Степанида. — И Дуня Прохорова! Все тут чьи-то!

— Не все, — прозвучал вкрадчивый, сладкий голос.

У самого колодца стояла Агафья — Марана до этой минуты её и не приметила. Невысокая, дородная, в дорогом суконном платке с тяжёлыми кистями, с ниткой крупных янтарных бус на шее. Агафья жила богаче всех в Межевичах, но никто не смел спросить вслух, откуда те достатки. К ней бегали за приворотом и за остудой, за пропавшей коровой и за лихой порчей на соседа — бегали тайком, задворками, а при белом свете здоровались с ней сквозь зубы. Голос у неё лился мягко, тягуче, словно тёплая патока.

— Чего вы воду мутите, люди добрые, — пропела Агафья, обводя толпу масляным взглядом. — Сказано ведь ясно: ни одному роду здешнему кровью не повязанная. Любава — Ефимова, Ульяна — Степанидина, Дуня — Прохорова. А вон та — чья?

Толпа качнулась, и десятки глаз разом впились в Марану. Она почувствовала эти взгляды на скулах, на шее, на руках — липкие, тяжёлые, будто её окатили тёплыми помоями. Внутри всё сжалось в тугой, злой комок.

— Моя, — ровно сказала Ядвига, делая полшага вперёд и заслоняя дочь худым плечом.

— Твоя, — с лёгкой усмешкой согласилась Агафья. — Да только ты сама тут пришлая, Ядвига. Тридцать лет в Межевичах живёшь, а родни у тебя — ни единой души. Это раз. А отцова кровь в девке чья? Скажи при честном народе, от кого в подоле принесла. Назови имя — глядишь, и отступимся.

Ядвига не проронила ни звука. Марана резко повернула к ней голову и увидела то, чего не видела ни разу за восемнадцать лет: мать растерялась. Она стояла прямая, сухая, сложив натруженные руки на переднике, и молчала. А по толпе уже змеёй пополз шёпот, холодный, как сквозняк по полу:

«От лесного нагуляла… Говорили же… А глаза-то у девки, глаза — гляньте, звериные…»

В этот миг от кузницы качнулся вперёд Митяй. Он уже раскрыл рот, шагнул из тени, сжав кулаки, но тяжёлая рука отца-кузнеца мёртвой хваткой легла ему на плечо, пригвоздив к месту. Митяй дёрнулся, встретился с отцом глазами — и остался стоять, побелев так, что сажа на щеках стала похожа на синяки.

Марана только криво усмехнулась. Никто за неё не вступится. Никогда не вступался.

— Не ваше дело, от кого, — звонко, на всю площадь бросила она, вздёрнув подбородок. — Вы б лучше, тётка Агафья, похвалились, откуда у вас бусы новые. Тоже, небось, лесной на шею повесил?

В толпе кто-то сдавленно хохотнул и тут же прикусил губу. Агафья даже бровью не повела в сторону Мараны — она смотрела прямо в глаза Ефиму.

— И насчёт чистой души, — продолжала она всё тем же медовым, обволакивающим голосом. — Чище во всей округе не сыщешь. Ни один парень к ней за всю жизнь подойти не посмел. Боятся. И всякий знает почему.

— Я знаю почему! — Тихон, старший Ефимов сын, грубо протолкался вперёд, расталкивая мужиков плечом. Правую руку он, по привычке, прижимал к боку, и рукав рубахи болтался на ней, как на сухой палке. — Вот почему! Глядите все! Я её на Купалу только за локоть взял — и вот! Порча! Всякого, кто ей поперёк встанет, на корню сушит!

— Руки распускать не надо было, — отрезала Марана. — Я тебе ещё тогда у реки сказала: пусти, Тиша, по-хорошему.

— Ведьма, — сипло выдохнул Тихон — как есть, ведьма! — В его расширенных глазах плескался такой животный ужас, что Марана впервые поняла: он её боится. Боится до дурноты, до холодного пота — потому и ненавидит люто.

— У меня корова доиться перестала, как она мимо двора прошла! — скрипуче подала голос старуха Матрёна.

— Бабка, корове твоей двадцать лет в обед, она б и без меня молоко потеряла! — огрызнулась Марана.

Тут по рядам прокатился нервный смешок, но его разом оборвал глухой стук посоха об утоптанную землю.

— Довольно! — прогремел Ефим, и в голосе его прорезалась та самая тяжесть, от которой в деревне стихали любые драки. Он избегал смотреть на Ядвигу, уставившись куда-то в тёмную бревенчатую кладку колодца. — Решено. Ни одному роду межевичскому она не родня. Ни за кем не просватана. Сама себя выдала. Завтра на закате, в серый час, поведём к опушке. Готовь белую рубаху, Ядвига, долг платить пора.

— Не дам! — голос Ядвиги сорвался в хриплый крик, от которого у Мараны заныло под сердцем. Травница рванулась к колодцу, худая, взъерошенная, похожая на старую ястребицу, защищающую гнездо. — Вы её не растили! Вы ей куска хлеба в голодный год не подали! Она моя, слышишь, Ефим?! Моя!

— Попридержись, Ядвига, — сухо отозвался староста, не оборачиваясь. — Против всего мира не попрёшь. Мор вернётся — тебя первую на вилы и поднимут.

Толпа начала расползаться быстро, воровато, пряча глаза и кутаясь в тулупы. Никто не хотел оставаться на площади дольше нужного — будто боялись, что если задержаться, Лес передумает и потребует кого-то ещё. Мимо прошла Степанида, торопливо сплёвывая через левое плечо; Прохор увёл всхлипывающую Дуню; только Агафья задержалась у колодца на лишний миг, провожая Марану долгим, торжествующим взглядом, — а на Ядвигу, проходя мимо, так ни разу и не подняла глаз, — и растворилась в густеющих сумерках.

Домой шли молча. Пыль под ногами уже схватывалась первым осенним холодком.

В избе было темно и тепло — пахло остывающей печью, сухим зверобоем и горькими травами. Ядвига зажгла лучину дрожащими пальцами, достала из сундука длинную, нетрону-

тую рубаху из небелёного холста и положила на стол рядом с солонкой и краюхой свежего хлеба. Потом молча взяла пучок серебристо-чёрной травы, размяла в ладонях и бросила на горячие угли в загнетке. По избе поплыл терпкий, очищающий дым.

Марана сидела на лавке, уперев локти в колени и глядя в темноту перед собой. Слёзы так и не пришли — внутри горела только сухая, жгучая обида.

— Продали, — тихо сказала она. — Как телку со двора свели за недоимку.

Ядвига подошла, опустилась рядом на лавку и обняла её за плечи — крепко, до хруста в костях. От матери пахло дымом и родным домом.

— Не смей так думать, доча, — прошептала Ядвига ей в самую макушку, судорожно глотая воздух. — Слышишь меня? Не смей. Ты не дань и не скотина. Завтра поясок снимут — всё в лесу иным покажется. Помни одно: нож за пазухой носят, а не на языке. Чужое на себя не примеряй — не снимешь. И никому там не верь, ни светлым, ни тёмным.

Марана кивнула, прижавшись щекой к жёсткому материнскому плечу. За крошечным слюдяным оконцем сгущалась ночь. Белый туман у околицы больше не стоял на месте — он медленно, бесшумно вползал в спящую деревню, окутывая плетни и крыши, словно Старый Бор уже протянул за ней свои холодные, невидимые руки.

Глава 2. Плата

Утро выдалось стылым и звонким. За ночь туман отступил обратно к опушке, оставив на траве и крышах сараев белёсый иней, словно в сентябре вдруг дыхнула зима.

Марана проснулась с первыми петухами и долго лежала под тяжёлым лоскутным одеялом, глядя в закопчённые потолочные балки. Хотелось вскочить, накинуть тулуп и бежать — в поле, к реке, в соседнюю волость, куда глаза глядят. Но она знала: у околицы со вчерашнего вечера караулят мужики с рогатинами, а если она сбежит, весь деревенский гнев обрушится на Ядвигу. В избе пахло горячим ржаным тестом и горькими травами. Ядвига не спала вовсе — стояла у стола при свете догорающей лучины и что-то быстро, беззвучно шептала над тонкой суровой нитью. Когда Марана спустила босые ноги на холодные половицы, мать обернулась. Под глазами у травницы залегли глубокие тени, но спина оставалась прямой, как веретено.

— Садись, доча, — негромко сказала Ядвига, подвигая табурет к печи. — Пока люди не сошлись, косу заплету.

Марана послушно села. Материнские пальцы — жёсткие, шершавые от сока корней и золы, но удивительно бережные — распустили её густые, отливающие медью волосы и принялись заплетать тугую косу. В самом низу, перед тем как закрепить кончик, Ядвига незаметно вплела в прядь крошечный обережный узелок из высушенного двулистника и перетянула суровой нитью так туго, что его не развязать ни зубами, ни ногтями.

— Нож за пазухой, доча, — прошептала мать прямо ей в затылок, касаясь губами волос. — Не снимай. Пусть думают, что голая пришла.

— Мам… — голос Мараны дрогнул впервые за двое суток. Она сжала край табурета так, что побелели костяшки. — Я вернусь. Слышишь? Я не останусь там.

Ядвига замерла на миг, положив ладони ей на плечи, потом обошла табурет и опустилась перед дочерью на колени. Взяла её лицо в свои сухие, тёплые руки.

— Живи, Марана, — сказала она твёрдо, глядя прямо в серые с золотым ободком глаза. — Вот и весь мой наказ. Выживи. А остальное мы с тобой перетрём, как траву сухую да соль четверговую.

День тянулся мучительно долго, как смола по сосновой коре. Изба будто вымерла: соседи не заходили даже за привычными отварами от ломоты в пояснице — боялись осквернить перед обрядом. Лишь в полдень скрипнула калитка: на крыльцо кто-то молча положил полотняный узелок с печёными яблоками и исчез. Марана выглянула в сенцы и успела заметить только широкую спину Митяя, торопливо сворачивающего за угол кузницы. Он даже не обернулся. Марана скривила губы, но яблоки забрала — на пустой желудок и умирать, и бежать одинаково скверно.

Когда солнце начало клониться к зубчатой стене Старого Бора, заливая околицу холодным багрянцем, у калитки застучали. Марана вышла сама, не дожидаясь, пока её поведут под руки. На ней была длинная рубаха из грубого небелёного холста, подпоясанная тем самым старым тканым поясом-оберегом, поверх которого она накинула короткий овчинный полушубок — вечер тянул стужей. В руках она держала берестяное лукошко с завёрнутой в рушник краюхой свежего хлеба и деревянной солонкой.

У ворот стояли староста Ефим, двое свидетелей из старших мужиков и дед Осип, самый древний старейшина Межевичей, опиравшийся на клюку. Чуть поодаль жалась остальная деревня — бабы в тёмных платках, мужики с мрачными, каменными лицами. Никто не кричал и не тыкал пальцем; сегодня все смотрели в землю, словно хоронили покойника. Только Агафья у самого плетня щурила масляные глаза, провожая процессию.

Ядвига вышла следом, накинув на плечи старый платок. Она не плакала — шла рядом с дочерью ровным, привычным шагом, словно они просто собрались поутру за зверобоем.

К опушке вышли в самый серый час — когда багрянец на западе погас, а звёзды ещё не проклюнулись. Мир вокруг стал пепельным и плоским. Белая стена тумана стояла ровно у покосившихся межевых столбов, на которых тускло белели вырезанные на дереве знаки. За столбами начиналась Межа: широкая полоса, где белые стволы берёз переплетались с тёмными лапами елей, а воздух пах прелой листвой, сырой хвоей и близкой грозой. Птицы здесь молчали.

Ефим остановился в трёх шагах от границы. Подошёл к Маране, не глядя Маране в глаза, и достал из-за пояса тонкую пеньковую верёвку.

— Положено, — угрюмо пробормотал он, обматывая её запястья — не туго, лишь для вида, но у Мараны всё равно закипела в груди глухая, бессильная ярость. — Не серчай, Марана. За всех идёшь.

— Не подавитесь, — тихо бросила она, глядя поверх его плеча в белую муть.

Вперёд, шаркающей походкой, выступил дед Осип. В сухих скрюченных пальцах он держал старый железный нож с костяной рукоятью. Старик встал перед Мараной, поднял клинок и затянул дребезжащим, но удивительно гулким голосом, от которого по спине поползли мурашки:

— Брали у Живы — платим Нави, брали у Тени — платим Свету. Пояс снимаю, узел развязываю: больше ты не наша, имя твоё за порогом остаётся. Лес принял — долг закрыт.

Лезвие коротко блеснуло в сумерках — пеньковая верёвка с тихим треском упала в пожухлую траву. Следом дед Осип одним резким движением рассёк тканый пояс-оберег у неё на талии и сдёрнул его прочь.

В ту же секунду мир вокруг Мараны взорвался.

У неё перехватило дыхание, словно её с размаху швырнули в ледяную прорубь. Защитная пелена, восемнадцать лет укрывавшая её от мира, рухнула разом. Воздух перестал быть просто воздухом — он обрушился на неё сотней голосов, запахов и толчков. Марана услышала, как гудят соки в корнях старых сосен, как ворочается под землёй холодная вода ключей, как пульсирует за спиной мутный, липкий страх деревенской толпы — и яркой, жгучей искрой вспыхивает зависть Агафьи. Её собственная кожа загудела, как натянутая тетива; по рукам от плеч до кончиков пальцев пробежала странная, щекочущая волна — левую ладонь обожгло ледяным ветром, правую окатило сухим печным жаром.

Марана едва устояла на ногах, вцепившись пальцами в лукошко с хлебом. Из груди вырвался сдавленный вздох. Ядвига за её спиной резко втянула воздух, прижав ладонь ко рту, но не шагнула вперёд — за черту людям ходу не было. Дед Осип торопливо отступил за межевой столб, шепча оберег трясущимися губами.

— Ступай, — хрипло выдохнул Ефим, пятясь следом. — За столбы ступай.

Марана сглотнула подступившую к горлу тошноту, выпрямила спину и сделала шаг вперёд. Потом второй. Ступила за межевой столб — прямо в плотный, пахнущий грозой туман. За спиной глухо звякнули обереги на столбах, отсекая её от Межевичей. И тотчас голос деда Осипа вновь разорвал вечернюю тишину — обращённый уже не к ней, а в глубь Старого Бора:

— Ни свет, ни тьма, ни берёза, ни ель. Выйди, Безымянный, рассуди по Ряду!

Туман перед Мараной колыхнулся, словно тяжёлый полог, который отдёрнули невидимой рукой. Из белой мути бесшумно, без единого хруста сухой ветки под сапогом, вышел человек. Он был высоким и жилистым, одетым в длинный плащ цвета старого мха и тёмной древесной коры. На вид ему было не больше девятнадцати — ровесник, почти мальчишка, если бы не глаза: серые, как речной камень под водой, и пугающе спокойные, в которых не отражался даже тусклый свет вечернего неба. Тёмные волосы падали на лоб неровными прядями, а из-под закатанного рукава на левом предплечье выглядывала странная, похожая на выжженные корни чёрная вязь.

Он остановился в двух шагах от неё. Незнакомец не смотрел на толпу за столбами — его взгляд сразу упёрся в Марану. На миг его брови едва заметно дрогнули, словно он увидел перед собой не перепуганную деревенскую девку, а что-то совсем иное, но лицо тут же снова стало каменным.

— Долг принят, — произнёс он. Голос у него был негромкий, чуть хрипловатый, словно он редко им пользовался, но каждое слово упало в тишину, как камень в глубокий колодец. — Уходите.

Ефиму не пришлось повторять дважды. Мужики попятились к избам, торопливо уводя людей; только Ядвига задержалась у межевого столба на лишний удар сердца. Марана огляну-лась через плечо — сквозь редеющий туман она видела бледное, неподвижное лицо матери и сжатые в кулаки руки. А потом густая белая стена сомкнулась за спиной, отрезая деревню, избы, запах печного дыма и всю её прошлую жизнь.

В лесу стало тихо. Так тихо, что Марана слышала стук собственного сердца. Она мед-ленно повернулась к юноше в плаще цвета мха, крепче прижала к груди лукошко с хлебом и солью и вздёрнула подбородок, пряча дрожь в коленях за привычной дерзостью:

— Ну, здравствуй, Безымянный. Куда теперь поведёшь — в котёл или на вертел?

Юноша скользнул взглядом по её сжатым пальцам, по упрямо выставленному подбородку и ответил без тени улыбки: — Пойдёшь за мной. С тропы не сходить, вопросов не задавать.

— А если задам?

— Заблудишься. А здесь, на Меже, заблудиться хуже, чем в котёл попасть.

Он развернулся и шагнул в туман, где сплелись ветвями берёза и ель. Марана на миг прикрыла глаза, нащупала за спиной кончик косы с твёрдым материнским узелком, выдохнула — и шагнула следом.

Глава 3. Межа

В Старом Бору стемнело сразу, без сумерек — будто кто-то накинул на кроны деревьев тяжёлое мокрое рядно.

Марана шла след в след за Безымянным, стараясь не отставать ни на полшага. Тропа под ногами то утопала в мягкой, пружинящей хвое, то вдруг становилась шуршащей и звонкой от опавших берёзовых листьев. По правую руку сквозь переплетённые ветви угадывался странный, призрачный просвет — там стволы берёз белели даже в темноте, а воздух пах мёдом, влажным мхом и речной свежестью. По левую руку стоял глухой, непроглядный ельник, откуда тянуло холодным торфом, мокрым железом и горькими корнями.

Именно по этому шву — ровно между светом и тьмой — и вёл её проводник.

Он двигался поразительно легко и бесшумно: сухие ветки не трещали под его сапогами, кусты орешника сами расступались перед широкими плечами и смыкались сразу за спиной Мараны, словно лес узнавал хозяина и спешил укрыть его от посторонних глаз.

После того как старик Осип снял пояс-оберег, мир не перестал гудеть. Марана кожей чувствовала это напряжение — тонкую, звенящую струну, натянутую через весь лес. Стоило ей случайно качнуться чуть правее, к берёзам, как по телу разливалось тягучее, сонное тепло; стоило ступить левее, в тень елей, как затылок обдавало ледяным сквозняком. А внутри, под самыми рёбрами, всё сильнее ворочалось что-то незнакомое, тяжёлое и живое, отчего ладони зудели, словно обмороженные.

— Долго ещё? — не выдержала она, перехватывая поудобнее берестяное лукошко.

Безымянный не обернулся и не сбавил шага:

— Я велел вопросов не задавать.

— А я не подписывалась молчать до самой смерти. Или у вас тут за лишнее слово язык отрезают?

— Не отрезают, — сухо отозвался он. — Просто на Меже слово имеет вес. Скажешь не то — тропа услышит и уведёт.

Марана прикусила губу, но не столько из страха, сколько из упрямства. *«Ничего, Безымянный. Осмотрюсь, переждy ночь, а там поглядим, куда твои тропы ведут».*

Впереди, сквозь плотную стену переплетённых стволов, вдруг проступил тусклый тёплый отсвет. Тропа вывела на небольшую поляну, посреди которой возвышалась громада древнего серого валуна — такого огромного, что его замшелая вершина терялась в нижних ветвях деревьев. Когда-то давно в камень ударила молния, расколов его почти надвое, и в эту широкую расщелину была встроена сторожка, словно вросшая в саму породу камня. Одна её бревенчатая стена, сложенная из светлого, золотистого дерева, смотрела в сторону берёзовой рощи; другая — тёмная, почти чёрная от времени и сырости — уходила в ельник. Над крышей, затянутой густым зелёным мхом, поднимался тонкий дымок из каменной трубы.

Безымянный толкнул тяжёлую дубовую дверь, окованную почерневшим железом, и посторонился, пропуская её вперёд. Марана шагнула через высокий порог — и замерла.

Внутри оказалось на удивление просторно и тепло. Посреди горницы темнела грубая печь из дикого камня с широким открытым очагом, в котором весело потрескивали поленья — и Марана сразу заметила, что в огонь брошены рядом белое берёзовое полено и смолистая еловая чурка. Пламя над ними горело ровно, без копоти, отливая то золотом, то синевой. Под закопчёнными балками потолка висели пучки сушёных трав: привычный зверобой и душица соседствовали с тёмными, ядовитыми на вид стеблями вороньего глаза и серебристо-чёрным межевым полынком. Пахло близкой грозой, старым деревом, горьким дымом и холодной ключевой водой.

Но больше всего взгляд притягивал массивный дубовый стол у стены. На нём, на подставке из витого корня, стояли странные весы с двумя чашами — одна была выточена из гладкой белой кости, другая кована из тусклого чёрного железа.

В ту самую секунду, когда носок сапога Мараны переступил порог избы, тонкое коромысло весов резко вздрогнуло. Чаши качнулись, ударились друг о друга с коротким, чистым металлическим звоном — *дзинь!*— и замерли в мёртвом, неподвижном равновесии.

Марана моргнула, решив, что это от сквозняка из открытой двери.

Но Безымянный за её спиной застыл как вкопанный. Его серые глаза сузились, впившись в замершие чаши, а левая рука непроизвольно дёрнулась к предплечью, где под сукном плаща скрывалась чёрная вязь. Он перевёл взгляд на Марану — долгий, изучающий, пристальный — но не проронил ни звука.

— Тьфу ты, шишка пустая! — раздался вдруг скрипучий, ворчливый голос откуда-то из-под печи. — Опять дверь нараспашку! Весь дух выстудили, ироды!

Марана вздрогнула и отступила на шаг к косяку. Из тёмного угла у шестка, отряхивая с мохнатой жилетки печную золу, вылез крошечный, коренастый человечек ростом едва ей по пояс. Лицо у него было морщинистое, как печёное яблоко, нос картошкой, всклокоченная борода отливала зеленцой старого мха, а из-под спутанной шапки волос торчали острые звериные уши.

Лесовик упёр руки в бока, оглядел Марану с головы до ног прищуренными бусинами глаз и фыркнул:

— Ну и ну. Подарочек приволок. Мало нам забот на Меже, так ещё и лишний рот на шею! Хлеб-то хоть принесла, девка, али с пустыми руками припёрлась?

— Принесла, — нашлась Марана, разглядывая диковинное существо, которое в деревне поминали лишь в бабкиных страшилках. — И хлеб, и соль. Только на твою долю, дедушка, не рассчитывала.

— Ишь ты, язычок какой острый! — ощетинился лесовик, дёрнув ухом. — Я тебе не дедушка, я тут хозяин! Шуршун я! Без меня бы эта каменюка давно мхом поросла да мышами сгнила. А ты, Безымянный, чего стоишь как пень трухлявый? Похлёбка стынет!

Безымянный молча прошёл к столу, сбросил тяжёлый плащ на лавку и коротко кивнул на узкий деревянный полок у светлой стены, застеленный грубой дерюгой:

— Твоё место там. Вещи можешь оставить на лавке. Утром пойдём на Судный перекрёсток — Совет решит, кому достанешься.

Марана поставила лукошко на край стола, но садиться не спешила. Скрестила руки на груди:

— А ты, значит, здесь вроде сторожа при скотине? Пригнал, запер и пошёл?

— Я Страж Межи, — спокойно ответил он, снимая с огня закопчённый котелок. — Моё дело — держать границу и следить, чтобы Закон не нарушали. Пока ты на Меже, за тебя отвечаю я.

— И как же тебя звать-то, Страж? Неужто всю жизнь «Безымянным» кликать?

Он поднял на неё глаза. В свете очага его лицо показалось Маране совсем молодым — упрямый подбородок, резкие скулы, усталая складка между бровями.

— У Стража нет имени. И тебе знать его ни к чему.

Шуршун фыркнул у печи, гремя деревянными ложками:

— Не цепляйся к нему, девка. У него от твоей болтовни скоро уши завянут. Садись ешь, пока я добрый.

Похлёбка пахла грибами, корнями и дымком. Марана, у которой с утра маковой росинки во рту не было, съела свою миску до дна, хотя и поглядывала искоса на хозяев избы. Страж ел молча, медленно, словно через силу — Марана заметила, что он даже не притронулся к

принесённому ею свежему ржаному хлебу, лишь отломил крохотный кусочек и тут же отложил в сторону, будто тот не имел ни вкуса, ни запаха.

После ужина в сторожке стало совсем тихо. Шуршун залез на свой лежак за печью и почти сразу захрапел, посвистывая. Страж подбросил в очаг пару поленьев, уселся на лавку у самого порога, привалившись спиной к каменной стене, и закрыл глаза. Выглядело так, будто он уснул, но Марана видела: пальцы его левой руки лежат на колене напряжённо, готовые сжаться в кулак в любую секунду.

Она легла на свой полок у светлой стены, натянула до подбородка колючую шерстяную дерюгу и принялась ждать. Ждать пришлось долго. Огонь в очаге осел, превратившись в груду тлеющих рубиновых углей. За слюдяным оконцем густела непроглядная лесная ночь. Марана прислушивалась к ровному, глубокому дыханию Стража у двери и к сопению Шуршуна за печью. Всё внутри неё ныло от обиды и злости. *«Совет решит, кому достанусь… Как же. Не на ту напали».*

Когда ей показалось, что в избе уснули все, Марана бесшумно откинула дерюгу. Босые ноги коснулись прохладного деревянного пола. Не надевая сапог — взяла их в левую руку, чтобы не скрипнуть подмёткой, — она на цыпочках скользнула мимо очага к двери. Проходя мимо Стража, задержала дыхание: юноша не шелохнулся, только тень от ресниц лежала на бледных скулах.

Марана осторожно взялась за тяжёлую железную щеколду, медленно, по волоску, подняла её вверх и потянула дверь на себя. Петли, смазанные, видать, заботливым Шуршуном, не издали ни звука.

Холодный ночной воздух ударил в лицо. Марана выскользнула на крыльцо, прикрыла за собой дверь, быстро натянула сапоги и, пригнувшись, кинулась в сторону берёзовой рощи — туда, откуда, как ей казалось, они пришли вечером.

Сначала всё шло хорошо. Луна пробивалась сквозь редкие берёзовые ветви, серебря белую кору и усыпанный листвой мох. Марана бежала быстро, перепрыгивая через корни, прижимая к груди косу с материнским узелком. Впереди уже мерещился просвет — не иначе как та самая опушка, за которой чернеют крыши Межевичей.

Она прибавила шагу, раздвинула руками густые ветви орешника — и резко остановилась. Перед ней, посреди тихой поляны, возвышался огромный расколотый молнией валун. Из каменной трубы его крыши поднимался тонкий сизый дымок. Марана ошарашенно моргнула, оглянулась назад — но за спиной стояла глухая стена переплетённого ельника и берёз, без единого следа её сапог на влажном мху.

— Быть того не может… — прошептала она, чувствуя, как по спине пополз холодок. — Я же прямо бежала!

Она развернулась и пошла в другую сторону — левее, ориентируясь на лунный серп, проглядывающий сквозь тучи. Шла быстро, но уже не бежала, внимательно глядя под ноги и делая зарубки ногтем на встречных берёзах. Сотня шагов. Другая. Деревья расступились — и Марана уткнулась взглядом в ту самую дубовую дверь, окованную почерневшим железом.

От злости у неё задрожали руки. Она с силой пнула сапогом ни в чём не повинную кочку, развернулась и ринулась в густой ельник — пусть через бурелом, пусть по колючим веткам, лишь бы сбить этот проклятый леший морок! Ветки хлестали по щекам, сучья цеплялись за подол холщовой рубахи, под ногами хлюпала ледяная болотная жижа. Марана продиралась вперёд, задыхаясь от бега и ярости, пока ельник внезапно не оборвался.

Она вывалилась на поляну, едва не упав на колени — прямо перед крыльцом сторожки.

Дверь избы тихо скрипнула и распахнулась. На пороге, прислонившись плечом к косяку, стоял Безымянный. В руках он держал овчинный полушубок, который Марана впопыхах забыла на лавке.

— Набегалась? — негромко спросил он. В его голосе не было ни насмешки, ни злости — только спокойная, почти усталая уверенность. — Накинь, простынешь. Ночи здесь студёные.

Марана тяжело дышала, глядя на него исподлобья. Взъерошенная, с прилипшими к щеке сухими хвоинками и царапиной на скуле, она напоминала загнанного волчонка, готового вцепиться в руку каждому, кто подойдёт.

— Это твоих рук дело? — выдохнула она сквозь зубы. — Кругами меня водишь?

— Не моих. Межи. Блуждающие тропы сами решают, куда выводить. — Страж протянул ей полушубок. — Межа тебя не выпустит.

Марана вырвала полушубок из его рук, накинула на плечи и вздёрнула подбородок, хотя колени предательски дрожали от усталости и ночного холода:

— Посмотрим.

Она прошла мимо него в тёплую избу, стараясь не задеть плечом. Но на самом пороге, взглянув мельком на дубовый стол в углу, Марана замерла на миг: чёрная и белая чаши Весов равновесия едва заметно качались в тишине, будто откликаясь на её упрямство.

Интерлюдия. Велена

Двадцать восемь лет назад

На Солнцеворот даже в самой чаще Старого Бора не бывало настоящей темноты — только густая, медовая синева, пахнущая нагретой хвоей, липовым цветом и горьким папоротником.

Велене шёл одиннадцатый год, и в ту ночь ей впервые дозволили нести плетёный венок из зверобоя и купальниц к самому Судному перекрёстку. С раннего утра старшие берегини наряжали девочек у Родника Живы: расчёсывали длинные русые косы деревянными гребнями, повязывали на лоб тонкие медные обручи, оглаживали рукава рубах из небелёного льна, расшитых по подолу охрой и травяной зеленью.

— Спину держи прямо, Велена, — строго приговаривала наставница, поправляя у неё на груди нитку некрупного речного янтаря. — Ты не простая лесная травница, в тебе голос Рода поёт. Ступай легко, земли не топчи, и главное — по сторонам глазами не стреляй.

— Знаю, тётушка Добромила, — послушно кивала Велена, хотя усидеть на месте было выше её сил.

О Солнцевороте шептались в рощах загодя. Раз в год, когда солнце замирало в самой высокой точке неба, Явь и Навь сходились у сросшихся берёзы и ели, чтобы обновить древний клятвенный огонь на Межевом камне. В остальное время ходить к границе без дела строжайше запрещалось: старшие говорили, что от навьей стороны тянет могильным холодом, а от взгляда тёмных жрецов молоко скисает в кринках и молодые побеги вянут на корню.

Но Велене было до смерти любопытно.

К перекрёстку вышли перед самой полуночью. Светлая сторона шла чинно, тихим звонким ручьём: впереди ступала высокая, ослепительная Светозара, за ней — старшие жрицы в белых накидках, а следом — девочки с венками и глиняными чашами, полными ключевой воды. Над головами плыла протяжная, переливчатая песнь роста, от которой в траве сами собой раскрывались ночные цветы, а воздух становился сладким и тёплым.

И вдруг песнь оборвалась.

Поляна у сросшихся деревьев уже была занята. На той стороне, за огромным замшелым валуном с высеченными рунами договора, полукругом стояли навьи.

Велена невольно замедлила шаг, прижав венок к груди.

Если Явь сияла золотом, янтарём и белым холстом, то та половина поляны казалась вырезанной из ночной тени. Высокие мужчины в плащах из тёмной шерсти и грубой выделанной кожи стояли неподвижно, как вековые сосны. На их груди тускло поблёскивали застёжки из воронёного серебра и резаной кости, а лица в отсветах факелов казались высеченными из серого камня. Никто из них не улыбался. Даже воздух над их головами был другим — густым, холодным, пахнущим мокрой корой, железной рудой и торфом.

— Глаза в землю, — тихо, но твёрдо шепнула Добромила, легонько тронув Велену за плечо. — На ту сторону не глядеть. Не наше то.

Велена опустила ресницы. Послушно смотрела на носки своих мягких кожаных котыг, на росистую траву, на серый бок Межевого камня, где старший судья Карн уже высекал искру из чёрного кремня. Жрецы с обеих сторон затянули древний напев договора — низкий, гудящий голос Нави сплёлся со звонким, высоким голосом Яви, и над камнем вспыхнуло ровное бело-синее пламя.

Было жарко, торжественно и немного страшно.

Велена стояла в первом ряду светлых учениц, сжимая стебли купальниц, и чувствовала, как кто-то смотрит на неё сквозь огонь. Не тяжёлым, пугающим взглядом седобородых судей — другим. Острым, внимательным, живым. Она знала, что нельзя. Знала, что за это могут

на целую седмицу отстранить от утренних песен у Родника. И всё-таки подняла глаза. Прямо напротив неё, по ту сторону Межевого камня, стоял мальчик. Ему было лет тринадцать — чуть старше неё, сухощавый, прямой, в простой тёмной рубахе без жреческих украшений. Чёрные волосы были стянуты на затылке кожаным шнурком, а в глубоко посаженных тёмных глазах отражалось пламя костра. Он не отводил взгляда — смотрел прямо на неё с тем же упрямым, настороженным любопытством, с каким сама Велена разглядывала его мир.

На миг ей показалось, что гул жреческих голосов стих. Мальчик не улыбнулся, но уголок его губ едва заметно дрогнул, а потом он медленно, почти незаметно кивнул — словно проверял, настоящая ли она или только солнечный блик, заблудившийся у границы.

— Велена! — шикнула сбоку Милава, толкнув её локтем. — Ослепнуть захотела? Отвернись!

Велена вздрогнула и поспешно опустила голову, чувствуя, как щёки заливает горячий румянец. Сердце колотилось где-то в горле, быстрое и звонкое, как пойманная в ладони синица.

Когда обряд закончился и обе стороны начали расходиться — светлые в тёплую рощу, тёмные в глухой ельник, — Велена не удержалась и оглянулась через плечо ещё раз. Поляна у сросшихся деревьев была пуста. Только на чёрной траве по ту сторону камня лежало забытое кем-то чёрное воронье перо, а в воздухе ещё держался непривычный, терпкий запах грозы и свежего железа. Велена дотронулась пальцами до горячей щеки и впервые в жизни подумала, что Навь вовсе не такая страшная, как рассказывают старшие. И что до следующего Солнцеворота ждать целый, невыносимо долгий год.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.